

A detailed illustration of a young woman with long, flowing blonde hair, wearing a blue denim jacket over a light-colored shirt. She is seated at a wooden desk, her hands resting on a black computer keyboard. In front of her is a large computer monitor displaying a vibrant, painterly image of a sunset or sunrise over a mountainous, rocky landscape. The scene is set in a room with bookshelves filled with books in the background. The overall style is that of a digital painting or illustration.

Доброе
утро

Сергей Патрушев

Сергей Патрушев

Доброе утро

<https://litres.ru/74263387>

SelfPub; 2026

Аннотация

Пробуждение без будильника. Солнечный свет, льющийся сквозь шторы. Тишина, в которой больше нет голосов коллег, дедлайнов и офисной шумихи. Суббота - священный день и он принадлежит только ему.

У главного героя нет грандиозных планов, зато есть целый арсенал проверенных холостяцких ритуалов. Медитативная варка кофе в медной турке. Поход в супермаркет за углом, который превращается в квест по добыче энергетика и пачки пельменей.

Цифровая одиссея: от гула запуска игрового ПК до жарких киберспортивных баталий с верными друзьями на карте Dust2. Аниме-антракт, где проблемы решаются силой дружбы и читерскими способностями. Философия пельменей, съеденных прямо из кастрюли, чтобы не пачкать лишнюю тарелку.

Этот день - гимн осознанному одиночеству, бытовому гедонизму и тихой свободе человека, который никому ничего не должен. История о том, что для счастья не нужны Мальдивы, если у тебя есть уютное кресло, скоростной интернет и право просыпаться тогда, когда ты сам этого захочешь.

Содержание

Глава 1. Сладкий звук тишины	4
Г	35
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Сергей Патрушев

Доброе утро

Глава 1. Сладкий звук тишины

Пробуждение было мягким, почти вязким, как патока, медленно стекающая с ложки. Оно не имело ничего общего с теми конвульсивными рывками из сна, которые сопровождали меня каждое буднее утро на протяжении последних пяти лет. Не было резкого, раздирающего душу электронного визга будильника, этого безжалостного цифрового цербера, который каждое утро, ровно в шесть сорок пять, вонзал свой звуковой кинжал прямо в мой спящий мозг. Не было лихорадочного нащупывания дрожащей рукой кнопки «отложить», этой жалкой попытки украсть у безжалостного времени еще девять жалких минут полусна-полуяви. Не было ощущения нависшей над головой бетонной плиты обязательств, которая с первым же сигналом будильника всей своей многотонной массой опускалась на грудную клетку, затрудняя дыхание. Нет. Сегодня все было иначе.

Сознание возвращалось слоями, бережно и неторопливо, словно я всплывал с большой, темной, абсолютно беззвуч-

ной океанской глубины к теплой, пронизанной золотистым светом поверхности. Это было похоже на медленное, заворачивающее всплытие батискафа, который покинул мрачные бездны Марианской впадины и теперь, минуя толщи холодной воды, поднимается туда, где вода становится прозрачнее, светлее, где уже угадываются первые, еще робкие лучи солнца. Сначала, еще до того как я открыл глаза, пришло ощущение тепла — уютного, обволакивающего, почти материнского. Оно исходило от сбитой в ногах пуховой перины, которая за ночь каким-то непостижимым образом приняла форму идеального кокона, в точности повторяющего контуры моего тела. Перина была не просто теплой — она была живой, дышащей, она словно бы обнимала меня, защищая от всех невзгод внешнего мира.

Затем, пробиваясь сквозь пелену дремоты, пришел запах. Он был сложным, многослойным, как хорошее вино. Первый слой — это запах нагретого за летнюю ночь дерева. Старый паркет, уложенный еще в советские времена, но бережно отциклеванный и покрытый лаком три года назад, под воздействием утреннего солнца начинал источать тонкий, благородный аромат, в котором угадывались ноты смолы, времени и какой-то основательной, незыблемой надежности. Второй слой — это запах чистого постельного белья. Не порошка, не кондиционера с его химическим, приторным «альпийским лугом», а именно чистоты как таковой. Это был аромат све-

жести, смешанный с едва уловимым запахом уличного воздуха, который впитался в простыни, пока они сушились на балконе. Третий слой — запах пыли, но не той мерзкой, вездесущей пыли, которая скапливается на офисной оргтехнике, а домашней, почти родной, нагретой солнечным лучом, в котором она сейчас и танцевала.

А потом пришел свет. Он не бил по глазам, не врывался в зрачки раскаленными иглами, как это бывало, когда я задерживал задернуть шторы в будний день. Он настойчиво, но невероятно деликатно просвечивал сквозь сомкнутые веки, окрашивая внутреннюю темноту в теплый, оранжево-алый, какой-то утробный цвет. Я лежал, не открывая глаз, и просто наслаждался этим цветом. Он был живым — то становился чуть ярче, если я чуть сильнее сжимал веки, то приобретал глубокий, бордовый оттенок, если расслаблял. Это был мой личный, рукотворный калейдоскоп, и я, как ребенок, забавлялся с ним, меняя интенсивность сжатия глазных мышц и наблюдая за причудливой игрой оттенков. Где-то на периферии этого светового пятна мелькали крошечные искорки — то ли фосфены, рожденные самим зрительным нервом, то ли отражения солнца от пролетающих за окном птиц. Наслаждение этим простым, почти физиологическим процессом было настолько полным, что на какое-то время я просто растворился в нем.

Где-то на самом краю сознания, в той его части, которая еще не до конца распрощалась с ночными грезами, еще копошились обрывки сна. Бессвязные, нелепые, лишенные всякой логики образы, которые, тем не менее, оставляли после себя отчетливый эмоциональный осадок. Сон был из разряда тех типичных офисных кошмаров, которые, кажется, снятся всем, кто хоть раз в жизни работал в корпоративной среде. Мне снилось, будто я пытаюсь провести важное квартальное совещание, но все участники, включая генерального директора и приглашенных акционеров, сидят внутри огромного, от пола до потолка, аквариума. Все в строгих деловых костюмах, при галстуках и с планшетами в руках, но при этом находятся под водой. Я, как докладчик, стою перед ними, тычу указкой в диаграмму на мольберте, но вместо слов из моего рта вырываются только пузыри. Самые обыкновенные, большие и маленькие, как у аквалангиста. А мой начальник, Олег Валентинович, с его неизменным бобриком седых волос и тяжелым взглядом из-под кустистых бровей, вместо того чтобы разразиться привычной гневной тирадой, просто открывает рот и тоже пускает пузыри. И все сотрудники, сидящие полукругом, с умным, сосредоточенным видом кивают головами в такт этим беззвучным пузырям, делая пометки в своих ежедневниках мокрыми от воды ручками. Образ был настолько абсурдным, гротескным и при этом каким-то пугающе точным отражением моей ежедневной реальности — когда никто никого не слушает, все говорят на

разных языках, а результатом любого обсуждения становится ноль, облеченный в форму красивых презентаций, — что губы сами собой растянулись в широкой, блаженной улыбке. Я усмехнулся, все еще не открывая глаз, и от этой усмешки по всему телу пробежала теплая волна. Это был смех облегчения. Смех человека, который проснулся в лодке после кораблекрушения и понял, что берег близко.

Я перевернулся на бок, и это простое, почти рефлекторное движение доставило мне ни с чем не сравнимое физическое наслаждение. Где-то глубоко в пояснице, в районе крестца, раздался тихий, сухой хруст — это застоявшийся за ночь позвонок с радостью и облегчением встал на свое законное место. За ним, словно по цепочке, откликнулись грудные позвонки — пробежала короткая, приятная дрожь. Я зарылся лицом в подушку. Прохладная хлопковая наволочка приятно холодила щеку, разгоряченную долгим сном. Я вдохнул ее запах глубоко, полной грудью. В подушке, в самой ее сердцевине, все еще жил аромат моих волос, смешанный с запахом сновидений — тонким, неуловимым, как запах утреннего тумана над рекой.

Где-то за окном, очень далеко, едва слышно, почти на грани восприятия, прошелестела шиной одинокая машина. Это был звук, который в будни вызывает лишь раздражение — часть бесконечной какофонии мегаполиса, пред-

вестник пробок и опозданий. Но сейчас он воспринимался совершенно иначе. Звук родился где-то на соседней улице, тихо, ненавязчиво набрал свою еле уловимую громкость, достиг какого-то своего микроскопического звукового пика и начал так же плавно растворяться вдали, оставляя после себя звенящий, насыщенный шлейф тишины. Это было похоже на круг, разошедшийся по водной глади от брошенного камешка. Тишина сомкнулась над этим звуком, поглотила его, переварила и снова стала абсолютной. И именно в этот момент меня накрыло.

Это была не просто мысль. Это была мощнейшая, всепоглощающая волна чистейшего, незамутненного, дистиллированного счастья. Она поднялась откуда-то из глубины солнечного сплетения — из того самого центра, который, как утверждают восточные практики, отвечает за волю и жизненную энергию. Там, внутри, вдруг образовался горячий, пульсирующий шар, который начал стремительно расширяться. Теплая, почти горячая дрожь разлилась по всем конечностям, достигла кончиков пальцев на руках и ногах, заставив их слегка покалывать. Она поднялась по позвоночнику вверх, к основанию черепа, и там, в голове, взорвалась одной-единственной, сияющей, как неоновая вывеска над входом в ночной клуб, мыслью: «Суббота». Я даже не подумал это слово в привычном смысле. Я не произнес его мысленно. Я его прочувствовал всем своим существом, каж-

дой клеткой, которая еще минуту назад пребывала в блаженном анабиозе, а теперь оживала, расправлялась, как сухой цветок в воде, наполняясь ликованием. Суббота. Это короткое, рубленое слово из шести букв в моем личном лексиконе давно стало синонимом свободы. Священный, неприкосновенный, выстраданный за пять дней ада день. День, когда не существует понятия «надо». Существует только «хочу». Или даже «не хочу». И это самое «не хочу» вдруг обретает вес и незыблемость имперского закона.

Не хочу вставать — и не встаю. Не хочу говорить — и молчу. Не хочу думать о дедлайнах, кредитах, курсах валют, странном хрусте в подвеске автомобиля и необходимости записаться к стоматологу — и не думаю. Господи, какое же это непередаваемое, почти забытое в ежедневной гонке удовольствие — просто не думать. Позволить своему мозгу, этому перегретому, забитому информационным шлаком процессору, уйти в режим глубокого энергосбережения. Перестать генерировать бесконечные списки, чек-листы, планы и контрпланы. Просто отключить эту опцию. У меня было такое чувство, что всю прошедшую неделю мой мозг работал как взбесившийся сервер, который пытается обработать миллион запросов в секунду, и вентилятор охлаждения гудит на пределе своих возможностей, грозя вот-вот разлететься на куски. А сейчас кто-то заботливый просто нажал кнопку «Reset». И в наступившей тишине слышно только, как медленно, с об-

легчением останавливаются жесткие диски мыслей.

Я открыл глаза.

Комнату заливало солнце. Не просто освещало, а именно заливало — щедро, по-летнему расточительно. Его лучи, плотные, почти материальные, похожие на расплавленное золото, косым, широким столбом прорезали все пространство комнаты от окна до самого пола, разрезая ее на две половины: яркую, ослепительно светлую и более темную, прохладную. И в этом золотистом потоке, в этом луче, который казался осязаемым настолько, что до него хотелось дотронуться рукой, танцевали, кружились в каком-то своем неспешном, медитативном ритме мириады крошечных пылинок. Это был целый микрокосмос, галактика в миниатюре. Пылинки двигались хаотично, подчиняясь невидимым воздушным потокам, но в этом хаосе была своя, высшая гармония. Они то взмывали вверх, то резко пикировали вниз, то замирали на долю секунды, словно в нерешительности, и снова продолжали свой вечный, завораживающий танец. Я лежал и смотрел на них, не отрываясь, и это зрелище гипнотизировало меня, погружало в состояние, близкое к трансу. Это была лучшая медитация из всех возможных. Я чувствовал, как мои собственные мысли, обычно носящиеся в голове, как стая перепуганных, орущих галок перед грозой, постепенно замедляются, успокаиваются, теряют свои ост-

рые, режущие грани и тоже начинают свой плавный, величественный, подчиненный только им одним ритму танец. Мысли больше не сталкивались друг с другом, не создавали заборов и пробок. Они текли плавно, как большая, спокойная река в своем нижнем течении.

На противоположной стене, прямо напротив моей кровати, дрожал и переливался солнечный зайчик. Он был живой, этот маленький сгусток света. Он то сжимался в яркую, почти белую точку, то расплывался в аморфное, колеблющееся пятно с размытыми краями. Источником этого маленького чуда был кто-то из соседей сверху. Судя по характерному, ритмичному журчанию, доносившемуся сквозь бетонные перекрытия, там сейчас поливали цветы на балконе. Вода, стекая по листьям, срывалась вниз редкими, тяжелыми каплями и попадала на мое оконное стекло, создавая на нем причудливые водяные линзы. Солнечный свет, проходя сквозь эти линзы, преломлялся и рисовал на моей стене этот дрожащий, живой блик. Никакой спешки. Никакого напряжения. Соседи поливают цветы, капли стекают по стеклу, зайчик танцует на стене — и весь этот неспешный, размеренный ход вещей наполнял мою душу глубоким, всеобъемлющим покоем. Мир существовал сам по себе, по своим законам, а я был лишь его наблюдателем, зрителем в первом ряду, и это была лучшая роль из всех возможных.

Пятидневка позади. Эта мысль требовала осмысления. Она была слишком огромной, слишком значительной, чтобы просто принять ее к сведению, кивнуть и пойти чистить зубы. Нет, такое событие следовало пережить, прочувствовать, распробовать на вкус, как дорогое выдержанное вино. Я перекатился на спину, снова с наслаждением ощутив, как перекачиваются и встают на место мышцы спины, и устоял в белоснежный, идеально ровный потолок. Потолок, на который у меня обычно не хватало времени даже посмотреть. Пять дней. Сто двадцать часов. Семь тысяч двести минут крошечного, выматывающего душу ада. Нет, конечно, если подойти к вопросу формально, с сухой бухгалтерской точностью, и вычесть из этих ста двадцати часов время на сон (в среднем часов по шесть, не больше) и формальные, прописанные в трудовом договоре перерывы на обед, то набиралось не так уж и много. Но человеческая психика — не бухгалтерский баланс. Она не оперирует сухими цифрами. Ощущение было такое, будто я вручную, без какой-либо механизации, в гордом одиночестве перетаскал вагон щебня. Или разгрузил баржу с песком. Или поднялся пешком на Эверест, причем без кислородного баллона и в офисных туфлях на тонкой кожаной подошве.

Офисная работа выжигает мозг. Это не метафора. Это самый что ни на есть буквальный, физиологический процесс. Она выжигает его методично, безжалостно и, что самое

страшное, незаметно для самого носителя этого мозга. Это как сидеть у камина: ты чувствуешь приятное тепло, тебе уютно, ты смотришь на огонь и не замечаешь, как жар slowly but surely иссушает твою кожу, делает ее дряблой, покрывает сеткой мелких морщин. Офис точно так же, день за днем, час за часом, выедает твой мозг по кусочкам. Сначала уходит способность к творческому, нестандартному мышлению. Ты перестаешь видеть лес за деревьями. Потом атрофируется чувство юмора — ты перестаешь смеяться над шутками коллег, да и свои шутки становятся плоскими и какими-то злыми. Затем наступает черед эмпатии: проблемы близких людей начинают вызывать не сочувствие, а глухое раздражение, потому что на них тоже требуются твои ограниченные эмоциональные ресурсы. А ресурсов этих с каждым днем все меньше. Ты просыпаешься в понедельник утром уже уставшим. Сама мысль о том, что нужно куда-то ехать, кому-то что-то доказывать, с кем-то воевать за бюджет, отвечать на бесконечные, бессмысленные, как закольцованная матрешка, письма в корпоративной почте, ставить свою электронную подпись под документами, смысла которых не понимает ни один живой человек, включая тех, кто эти документы составил, — эта мысль парализует. Она наваливается на тебя в шесть тридцать утра понедельника, как могильная плита, и ты лежишь под этой плитой, не в силах пошевелиться, и с ужасом думаешь: «Неужели это и есть жизнь?».

Всю прошедшую неделю я жил в режиме сжатой до отказа пружины. Каждый день был похож на предыдущий, как одна капля воды похожа на другую, и это однообразие само по себе было формой изощренной пытки. В голове непрерывно, не замолкая ни на минуту, гудел огромный, злой, потревоженный улей. Рой чужих голосов, каждый из которых что-то требовал, просил, угрожал или манипулировал. Голос моего непосредственного начальника, Олега Валентиновича, — вкрадчивый, с легким, почти незаметным шипящим присвистом из-за вставной коронки на верхнем резце. Он никогда не повышал тона, но каждое его слово было пропитано такой концентрированной, ядовитой пассивной агрессией, что после пятиминутного разговора с ним хотелось пойти и вымыть руки. «Алексей, голубчик, — говорил он, растягивая гласные, как удав, гипнотизирующий кролика, — мне нужны цифры еще вчера. Вы же понимаете, что без этих цифр, снятых буквально с потолка и не имеющих никакого отношения к реальности, наш многоуважаемый совет директоров не сможет принять очередное идиотское решение? А нам ведь с вами за это решение потом отвечать. Вот такая, знаете ли, ирония судьбы». И уходил, оставляя после себя шлейф дорогого парфюма и ощущение, что тебя только что окунули головой в ведро с чем-то липким и неприятно пахнущим.

Голос Светланы Петровны из бухгалтерии — этой церберши в розовой кофточке и с химической завивкой, вечно чем-

то недовольной и cedящей слова сквозь зубы так, будто я лично украл у нее не только степлер, но и все скрепки, дырокол и коробку с бумагой для принтера. «Алексей Владимирович, — ее голос был похож на звук, который издает ножовка по ржавому железу, — ваш авансовый отчет за прошлую командировку — это не отчет, а филькина грамота. Где чек из гостиницы? Где посадочные талоны? Вы что, хотите, чтобы налоговая при проверке повесила недостачу на меня? Переделайте. И принесите оригиналы. Сегодня. До обеда. Иначе я не проведу вам оплату текущих счетов».

Голос ключевого заказчика, господина Карапетяна, который сам, вот уже третий месяц, катастрофически не знает, чего он хочет, но зато знает две вещи с абсолютной, гранитной уверенностью: во-первых, он хочет получить это «нечто» немедленно, прямо сейчас, а во-вторых, он хочет получить это совершенно бесплатно, в качестве жеста доброй воли и компенсации за его «бесценное время, потраченное на бесконечные согласования». И ты сидишь, слушаешь этот поток сознания по громкой связи, и понимаешь, что твой внутренний предохранитель уже не просто нагрелся, а раскалился до белого каления и вот-вот с характерным щелчком вырубит всю систему к чертовой матери.

А ко всем этим голосам добавлялся еще и фоновый, непрекращающийся, изматывающий шум самого опен-спей-

са — этого худшего из архитектурных и акустических саундтреков, когда-либо изобретенных человечеством. Я часто думал о том, что создатели концепции открытого офисного пространства, вероятно, были тайными садистами, поставившими своей целью свести с ума как можно больше людей. Мерзкое, ни на секунду не прекращающееся клацанье клавиатуры коллеги слева, молодого амбициозного программиста Димы. Дима печатал с такой силой и скоростью, будто забивал гвозди или отстреливался от стаи зомби в компьютерной игре. Каждое нажатие клавиши отдавалось у меня в висках тупой, ноющей болью. Справа, из-за невысокой тканевой перегородки, обильно усыпанной стикерами с напоминаниями, доносилось методичное, утробное чавканье. Это Марина из отдела маркетинга, плюнув на все советы диетологов и глянцевого журналов, притащила на рабочее место свой знаменитый бутерброд с докторской колбасой (той самой, запах которой напоминает смесь вареной туалетной бумаги и дешевых специй) и теперь самозабвенно его уничтожала, запивая растворимым кофе из кружки с надписью «Я не в ресурсе».

И телефон. Телефон, этот электронный чербер, который разрывался каждые три минуты, и с каждого звонка на тебя выливали целый ушат чужих, неотложных, но от этого не менее бессмысленных проблем. Внутренний номер от логистов: «Алексей, у нас там фура с комплектующими застряла

на таможне, терминал завис, что делать?». Внутренний номер от юристов: «Алексей, в договоре с подрядчиком опечатка в сумме НДС на три копейки, это критично?». Внешний звонок от представителя потенциального клиента: «Алло, это компания “Рога и Копыта”? Мне нужен самый лучший, самый быстрый и самый дешевый проект. У меня бюджет — три рубля и просроченный проездной. Сделаете?». И так по кругу, до бесконечности, до состояния, когда начинаешь ненавидеть сам звук телефонного звонка — эту веселую, беззаботную полифоническую мелодию, которую я когда-то сам, своими руками, выбрал в настройках.

Я отчетливо помнил тот момент в четверг, около четырех часов дня. Это был так называемый «час пик» — то самое время суток, когда уровень кортизола в крови офисного работника достигает своего максимального, зашкаливающего значения. Я сидел, уставившись в монитор невидящим, остекленевшим взглядом, и чувствовал, как мой мозг буквально закипает. Перед глазами плыли, сливаясь в одну серую, нечитаемую массу, строчки кода, графики, таблицы и цифры квартальной отчетности, а в ушах, перекрывая весь этот внешний шум, нарастал, крепчал тонкий, противный, комариный писк. Это был не звук извне. Это был звук перегруженной, перегретой нервной системы. Звук надвигающейся беды. Я тогда поймал себя на совершенно отчетливой, пугающе конкретной мысли. Я подумал: если сейчас

кто-нибудь — любой человек, неважно, начальник, коллега или уборщица, — подойдет ко мне с очередным «срочным», «горящим» или «архиважным» вопросом, я просто открою рот и начну кричать. Не говорить, не возмущаться, а именно кричать — долго, истошно, на одной ноте, как пожарная сирена, пока не сорву голосовые связки и не потеряю голос. А потом, когда голос кончится и наступит тишина, я спокойно встану со своего эргономичного, но такого ненавистного кресла, подойду к окну и, не говоря ни слова, выйду в него. Просто выйду, и все. Спасло меня в тот момент только одно: трусливое, позорное, но такое спасительное бегство в туалет. Я просидел в кабинке пятнадцать минут, закрыв лицо руками и слушая, как гулко, ритмично, как метроном, капает вода из неисправного крана. Кап-кап-кап. Этот звук был моей мантрой, моим якорем, единственным, что возвращало меня в реальность из той бездны отчаяния, в которую я стремительно падал.

И вот теперь, в это солнечное субботнее утро, — ничего. Ни единого звука. Тишина. Она была не просто отсутствием звука. Это была абсолютно самостоятельная, осязаемая, физически плотная субстанция. Плотная, как гигроскопическая вата, и нежная, как натуральный китайский шелк. Я лежал в центре своей кровати и буквально купался в ней, как купаются в теплом море в полный штиль, когда вода настолько спокойна, что не поймешь, где заканчивается море

и начинается небо. Тишина обволакивала меня со всех сторон, глушила любые резкие звуки, сглаживала острые углы реальности. Никто не требовал от меня решений. Никто не знал, проснулся я или еще сплю. Никто не слал сообщений в мессенджеры — я вчера специально, волевым усилием, перевел телефон в авиарежим перед сном, отрезав себе путь к отступлению. Я мог позволить себе немыслимую, непозволительную для буднего дня роскошь: проснуться и никуда не спешить. Просто лежать и проводить своеобразную инвентаризацию собственного тела. Пошевелить пальцами на ногах — ага, вот они, родимые, работают, шевелятся, каждый по отдельности. Напрячь икроножные мышцы — чувствуется приятная, тянущая, ноющая усталость, оставшаяся в мышцах после недели сидения на неудобном, но дорогом эргономичном стуле, который, вопреки заверениям продавца, оказался анатомическим орудием пытки. Втянуть живот, поддержать напряжение пару секунд и с шумом выдохнуть, снова превратившись в расслабленного, довольного жизнью тюленя, выбравшегося на теплую льдину.

Состояние нирваны подкралось незаметно. Это не был какой-то там невероятный, запредельный трансцендентный опыт, которого достигают просветленные монахи после десятилетий медитаций в пещерах Тибета. Нет, это было гораздо проще, приземленнее и оттого еще ценнее. Это было глубокое, животное, почти первобытное удовлетворение.

Мне тридцать два года. У меня нет ни жены, ни постоянной девушки, которая бы сейчас, в эту самую минуту, пока я нежусь в лучах утреннего солнца, пилила меня за то, что я до сих пор не починил этот чертов капающий кран на кухне, не вынес переполненное мусорное ведро и уже третий месяц обещаю прикрутить к стене шатающуюся полку в коридоре. У меня нет ребенка, маленького, горластого, переполненного жизненной энергией человеческого детеныша, который бы ровно в семь утра, без всякого будильника, с радостным воплем «Папа, вставай!» прыгнул мне на живот, целясь коленками в область паха или солнечного сплетения, и начал бы требовать мультиков, сладкой каши и немедленного похода в парк аттракционов.

В этом не было никакой трагедии, никакой скрытой печали или ущербности. Это был мой осознанный, взрослый, взвешенный выбор. Эгоистичный, возможно, в высшей степени, но чертовски, до скрежета зубовного комфортный. Моя постель принадлежала только мне. В ней хватало места, чтобы раскинуть руки и ноги в позе морской звезды, и при этом не вторгаться в чье-то личное пространство и не получать недовольный тычок локтем под ребра. Простыня была прохладной и гладкой, без крошек и чужих длинных волос. Одеяло я мог натянуть на голову целиком, не оставляя никому ни сантиметра. Я лежал, распластавшись в этой позе морской звезды на идеально ровном матрасе, и чувство-

вал себя полновластным королем, императором, самодержцем всея своей личной, крошечной, но такой уютной вселенной, ограниченной четырьмя стенами этой спальни. И плевать я хотел на общественное мнение, которое упорно считает, что мужчина после тридцати обязан быть женат, иметь ипотеку, кредитную машину, полутора детей и собаку породы корги. Мне всего этого не надо. Мне нужна только эта тишина.

Я лениво, с грацией сытого удава, скосил глаза на прикроватную тумбочку. Этот предмет мебели, купленный мною в «Икее» три года назад и собранный кривыми руками под пиво и футбольный матч, был моим личным алтарем гедонизма. На его поверхности, в гордом, аскетичном одиночестве, стоял граненый стакан с водой. Самый обычный, советский еще, с толстыми гранями. На его стенках не было ни единого отпечатка пальца, а на поверхности воды, чистой и прозрачной, как слеза комсомолки, не плавало ни единой пылинки. Рядом со стаканом лежала книга — зачитанный до дыр, с потрескавшимся корешком и пожелтевшими от времени страницами, томик братьев Стругацких, «Пикник на обочине», раскрытый на той самой странице, где я вчера, побежденный сном, даже не дочитал до конца абзац о Золотом Шаре. И телефон. Мой смартфон, эта черная зеркальная пластина, средоточие всех моих рабочих бед и тревог, валялся экраном вниз, как наказанный ребенок. Я знал, что в его цифро-

вом нутре, скорее всего, уже скопилось изрядное количество уведомлений. Рабочие чаты, эти рассадники корпоративного безумия, не затихают никогда. Там, ведомые какой-то нездоровой инерцией, люди продолжают что-то обсуждать, спорить, отправлять файлы и ставить смайлики даже глубокой ночью, даже в выходной день. Это форма социального вампиризма, попытка доказать свою мнимую незаменимость и выжать из себя последние капли профессиональной значимости. Пустое. Я твердо решил: я не прикоснусь к этому дьявольскому устройству минимум до полудня. А может, и до вечера. А может быть, я вообще проведу весь день, не включая экран. Эта крамольная мысль доставила мне почти физическое, чувственное удовольствие, сравнимое разве что с первым глотком ледяного пива в жаркий полдень.

За открытым окном, за легкой, колышущейся от сквозняка занавеской, щебетали птицы. Они не просто чирикали — они заливались на все лады, исполняя сложную, многоголосую утреннюю симфонию. Их хор звучал как ода жизни, как гимн всему живому, как лучшее доказательство того, что мир, несмотря ни на что, продолжает вращаться и радоваться новому дню. Сквозь этот радостный, жизнеутверждающий щебет, как нитка другого цвета в гобелене, пробивался далекий, приглушенный расстоянием, смягченный листвой тополей звук детских голосов. На соседней улице, за рядом панельных девятиэтажек, была детская площадка. Су-

дя по визгам, там сейчас шло какое-то грандиозное сражение или увлекательная игра. Но эти звуки, в отличие от звуков офиса, совершенно не раздражали. Они были органичной, неотъемлемой частью большого, живого, дышащего мира, который в этот субботний день существовал сам по себе, по своим законам, не требуя моего непосредственного участия. Я был лишь зрителем в первом ряду, укутанным в теплый плед своей постели, и я наблюдал за чужой, необременительной, бьющей ключом жизнью через призму собственного покоя. Крики детей были наполнены неподдельной, чистой радостью, в них не было истеричных ноток, злобы или усталости. Они напоминали мне о моем собственном, давно ушедшем детстве. О тех бесконечно длинных, беззаботных субботах, когда свобода от школы ощущалась как распахнутая дверь в рай. День велосипеда, футбола во дворе на самодельном поле, где воротами служили два кирпича, день войны в «казаки-разбойники», когда нужно было успеть нагуляться, набегаться, надышаться до того самого момента, пока мамин голос, усиленный эхом дворов-колодцев, не позовет тебя домой.

Я попытался, лежа в этой истоме, напрячь память и вспомнить, когда в последний раз испытывал такое же безмятежное, ничем не омраченное утро. Может быть, в отпуске? Память услужливо подкинула картинки: морской берег, белый песок, лазурная вода. Но нет, отпуск — это совер-

шенно другое. В отпуске над тобой, как дамоклов меч, висит осознание его конечности. Ты покупаешь путевку на десять дней и уже в первый день с ужасом думаешь о том, что прошло десять процентов счастья, а ты еще даже не распаковал чемодан. Ты лихорадочно считаешь дни, часы, минуты, боясь не успеть «отдохнуть» по полной программе, недобрать впечатлений. Ты насильно заставляешь себя веселиться, посещать все достопримечательности по списку, купаться в море до посинения, пробовать экзотическую, часто невкусную еду, делать селфи на фоне закатов. Отпуск — это та же гонка на выживание, тот же марафон, просто в более приятных декорациях и с другим климатом. А здесь, в этой залитой солнцем субботней комнате, не было никакой гонки. Не было дедлайна, к которому нужно успеть расслабиться. Была абсолютная, кристальная, звенящая остановка момента. Сейчас. Здесь. В этой точке пространства и времени. Между прошлой, выжигающей мозг рабочей неделей, которая закончилась, как кончается тяжелая болезнь, и будущим понедельником, который еще только маячил где-то за горизонтом, как далекая, но неотвратимая грозовая туча, существовал этот идеальный, ничем не заполненный, священный промежуток. Священная пустота.

Я лежал, не шевелясь, уже, наверное, целый час. А может быть, и больше. Кто знает? Время, эта тираническая структура, управляющая жизнью современного человека, потеря-

ло свою власть надо мной. Оно больше не делилось на отрезки, минуты и часы, а превратилось в одну сплошную, тягучую, комфортную массу, в которой можно было плыть без всякой цели и направления. Обычно, когда лежишь без дела так долго, начинает грызть совесть. Это мерзкое, липкое чувство вины, вбитое в нас с детства протестантской трудовой этикой. Внутренний голос, удивительно похожий на голос моей мамы, суровый и осуждающий, начинает занудно бубнить где-то в подкорке: «Вставай, бездельник, лежебока! Столько дел можно переделать! Разобрать балкон, который ты уже год обещаешь разобрать! Съездить на рынок за нормальной едой, а не питаться этой своей пиццей! Записаться, в конце-то концов, в спортзал, посмотри на свой живот!». Но сегодня, о чудо, внутренний голос молчал. Его, видимо, вытеснило, выжгло каленым железом чувство глубокого, экзистенциального удовлетворения. Я ничего не был должен. Ни балкону, ни рынку, ни спортзалу, ни обществу, ни самому себе. Я был чист. Я был свободен. Я никому не был должен. И в этом заключался главный кайф. Не в том, что я мог делать то, что хочу, а в том, что я мог абсолютно ничего не делать. И это «ничегонеделание» было наполнено глубочайшим, сакральным смыслом. Это был акт восстановления, капитального ремонта собственной души, которую долбили пять дней подряд. Каждая минута, проведенная в этом полусонном, медитативном оцепенении, как целительный бальзам, залечивала микротрещины и сколы, оставленные еже-

дневным стрессом. Я почти физически чувствовал, как распрямляются, освобождаются из тисков зажатые нервы, как разглаживаются невидимые, но глубокие морщины на лбу, как с висков уходит давящая, тупая боль, а бешеный, сбитый на собачий галоп ритм сердца замедляется и входит в спокойный, уверенный темп. Где-то глубоко внутри, на каком-то клеточном, молекулярном уровне, происходила перезагрузка системы. Мое измученное «я» восстанавливало заводские настройки, возвращаясь к тому чистому, незамутненному офисной плесенью образу и подобию, которым меня задумала природа.

В какой-то момент солнечный зайчик, все это время беззаботно танцевавший на стене, переполз на мое плечо. Я почувствовал это не столько кожей, сколько шестым чувством. Затем он, осмелев, двинулся выше, скользнул по шее и нахально упал прямо на лицо. Стало жарко. Веки снова налились теплой, красной тяжестью, а по щеке пробежало что-то щекотное и теплое. Я зажмурился еще сильнее, и мир снова окрасился в яркий, пульсирующий красный. Пора было признать, что мой организм не просто выпался — он выпался с избытком, с перевыполнением плана, и теперь, проснувшись окончательно, начинает требовать продолжения банкета. Требование это выражалось в смутном, но настойчивом образе чашки кофе. Я не хотел есть в прямом смысле слова — мой желудок, этот ленивый мешок, еще спал, свер-

нувшись калачиком и уютно пригревшись под одеялом. Но горький, обжигающий, ароматный, черный как смоль кофе представился мне именно тем завершающим аккордом, той финальной точкой, которая нужна этой великой симфонии безделья. Я представил себе турку, старую, медную, с деревянной ручкой, которую я привез три года назад из командировки в Армению. Представил, как насыпаю в нее мелко смолотый кофе, добавляю щепотку корицы и крупинку соли. Представил, как ставлю ее на медленный огонь и жду, затаив дыхание, когда коричневая, ароматная пенка начнет нехотя, медленно, с достоинством подниматься к краям.

Но я не встал.

Я только потянулся — длинно, с наслаждением, до легкой судороги в мышцах, вытягивая носки и снова хрустя всеми суставами. Простыня подо мной приятно холодила разгоряченную солнцем кожу. Я перевернулся на живот, обнял подушку обеими руками, как самый дорогой и любимый предмет, и уткнулся в нее носом. Состояние блаженства не проходило, оно лишь трансформировалось в другую, более спокойную и глубокую фазу. Теперь это была уже не эйфория, не бурный восторг от осознания свободы, а глубокая, вдумчивая, обстоятельная лень. Лень, возведенная в абсолют. Лень мыслей. В голове, которая обычно была переполнена обрывками фраз, списками неотложных задач, цифра-

ми, датами и навязчивыми мелодиями, было пусто и звонко. Как в огромном, только что отремонтированном и еще не заполненном прихожанами готическом соборе, где каждый шаг отдается гулкимэхом под высокими сводами. Ни одной навязчивой мысли. Никакого беспокойства о будущем. Я даже не думал о том, что приготовить на завтрак и стоит ли вообще его готовить. Я просто был. Я существовал. Этого было достаточно.

Это было похоже на глубочайшую медитацию, которой я никогда не учился и которую никогда не практиковал специально, но которую сейчас переживал с мастерством и самоотдачей дзен-буддийского монаха, посвятившего этому всю жизнь. Я слушал тишину. И в этой тишине, в этом кажущемся безмолвии, как оказалось, было множество слоев, как в хорошем, многослойном торте. Самый верхний, поверхностный слой — это бытовые шумы: приглушенный шум воды в старых, еще чугунных трубах — сосед сверху, видимо, закончил полив и пошел мыть руки. Далекий, едва различимый, но настойчивый лай собаки где-то в соседнем дворе. Шорох шин проехавшей машины. Шелест пластикового пакета, который ветер гоняет по асфальту. Глубже, под этим слоем цивилизации, лежал слой природы: голоса птиц, которые стали еще громче и разнообразнее, и непрерывный, успокаивающий, как белый шум, шелест листвы тополя за окном, те самые листья которого и отбрасывали дрожащие

тени на стену. Еще глубже, на грани слышимости, был слой меня самого: биение моего собственного сердца. Медленное, уверенное, спокойное. Ту-дум. Ту-дум. Тук-тук. Это был звук работающего двигателя, который наконец-то перешел с надрывного рева на спокойные, холостые обороты. И, наконец, где-то там, на самом дне, за пределами обычного восприятия, угадывался самый глубокий слой — какое-то космическое безмолвие, гул самой вселенной, который, как говорят, можно услышать в полной изоляции. Раньше, еще вчера, я никогда не слышал его за всем тем шумом, который производила моя собственная жизнь.

Я поймал себя на мысли, что улыбаюсь. Улыбаюсь просто так, без какой-либо видимой причины, как блаженный. Мышцы лица, отвыкшие за долгую рабочую неделю от этого нехитрого упражнения (ведь офис предполагает в основном вежливую, дежурную улыбку-оскал, предназначенную для клиентов и начальства, или сосредоточенно-злое, напряженное выражение лица для всех остальных), с явным облегчением и радостью откликнулись на это простое, естественное движение. Я чувствовал благодарность. Не к кому-то конкретно, а вообще. К этому дню, решившему порадовать меня солнцем. К этому солнцу, такому теплому и ласковому. К этой квартире, которая, несмотря на весь мой хронический холостяцкий бардак, на горы непрочитанных журналов на журнальном столике и сиротливо висящий на спинке сту-

ла носок, сейчас казалась мне самым уютным и безопасным местом во всей необъятной, холодной и суетливой вселенной. Я был благодарен самому себе. За то, что выдержал эту чертову неделю, не сорвался, не впал в истерику, не написал заявление об уходе по собственному желанию на эмоциях после очередного бессмысленного, двухчасового совещания в конференц-зале. Я выстоял. Я прошел этот круг ада и не сломался. И теперь я здесь, в своей кровати, и это моя законная, честно заработанная награда. Мой личный кубок за выживание в корпоративных джунглях.

Отсутствие постоянных, серьезных отношений, которое многие мои друзья и, особенно, их жены, считали моей личной трагедией, неким дефектом, который нужно срочно исправлять, сейчас, в это солнечное утро, воспринималось как высшее благо, как благословение небес. Кровать была только моей. Одеяло — только моим. Тишина — только моей. Мне не нужно было ни с кем согласовывать свои планы на день, не нужно было выслушивать чужое недовольство жизнью сразу после пробуждения, не нужно было решать чужие проблемы, влезая в них с головой. Вся моя драгоценная эмоциональная энергия, которую в будни без остатка, до дна, вычерпывают офисные вампиры, сейчас принадлежала только мне и никому больше. Я не должен был тратить ее на сочувствие, утешение или решение чужого кризиса. Она медленно, капля за каплей, восстанавливалась внутри меня, как пересохший

от долгой засухи колодец, который наконец-то докопался до спасительного, живительного подземного источника. Я чувствовал, как этот колодец наполняется покоем.

Там, за стенами этой спальни, был большой мир. Шумный, суетливый, требующий, агрессивный, вечно голодный. Мир утренних пробок, горящих дедлайнов, просроченных кредитов, пугающих политических новостей и чужих непомерных амбиций. Мир, в котором нужно постоянно бежать, чтобы просто оставаться на месте. Но здесь, внутри этого замкнутого пространства, был мой личный, суверенный, неприкосновенный остров. Мой затерянный в океане хаоса архипелаг спокойствия. И я был его единоличным правителем, его королем, его президентом и, по совместительству, единственным жителем. Мой флаг — флаг лени, безделья и наплевательства на все — гордо и победоносно реял над этой территорией, и ни одна армия мира, ни один начальник, ни один заказчик не могли заставить меня его спустить.

Сладкая, вязкая истома, владевшая мной последние полтора часа, постепенно начала отступать, как отступает море во время отлива, уступая место легкому, приятному телесному голоду. Медитативная фаза неги закончилась, и на смену ей пришла фаза активного предвкушения. Где-то там, на моей маленькой, но уютной кухне, в жестяной, плотно закрытой банке, меня терпеливо дожидался свежемолотый,

крупного помола кофе. А в недрах холодильника, среди батареи бутылок с пивом и одинокого сморщенного лимона, лежал кусок вчерашней пиццы «Пепперони». Я, как истинный, убежденный холостяк и гедонист, считал этот кулинарный изыск вполне достойным и сбалансированным субботним завтраком. Еще немного, и я встану. Я совершу этот героический акт. Я надену свои любимые, старые, растянутые на коленях, неопределенного серого цвета домашние штаны. Я прошлепаю босиком по теплому, скрипучему паркету в коридоре на кухню. Я насыплю кофе в турку, залью холодной фильтрованной водой и буду долго, застыв, как изваяние, смотреть в одну точку, наблюдая за тем, как медленно, нехотя, с каким-то королевским достоинством поднимается темная, ароматная, пузырящаяся коричневая пенка. Я сниму турку с огня в самый последний момент, не дав кофе убежать. А потом я сяду в кресло у окна и буду пить этот божественный напиток крошечными глотками, обжигая губы, и смотреть на просыпающийся город.

Но это все будет чуть позже. Еще минуточку. Еще тридцать секунд. Потому что сейчас, в эту самую секунду, в этом теплом, золотом солнечном луче, в этой абсолютной, звенящей, космической тишине, я был абсолютно, тотально, непоколебимо счастлив. Просто так. Без повода и без причины. Свободный, выспавшийся, никому ничего не должный человек в центре огромного, безучастного ко всем муравьино-

го мегаполиса. Суббота только началась, и впереди была целая вечность. Целых сорок восемь часов жизни, принадлежащей только мне. Я закрыл глаза, чувствуя, как ресницы щекочут щеки, и снова с радостью и облегчением провалился в сладкую, ароматную, теплую дремоту, наполненную золотым светом и предчувствием самого длинного, самого ленивого, самого прекрасного дня в моей жизни.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.